

«Ты не поник главной послушной...»

Между нами — плаха. Дощатая сцена-помост, разделяющая крошечный зрительный зал на две части. Помост! Разделяющий! Скорее, мост, соединяющий всех, кто здесь собрался: ведь зрители смотрят не в затылок, а в глаза друг другу.

В продуваемом со всех сторон московском подвале, где приютился экспериментальный театр-студия под руководством В. Спесивцева, играют «Плаху».

Едва начался спектакль, едва прозвучали первые слова, мои соседи-студенты затихли. Замерли. А я слежу не только за тем, что происходит на сцене, но и думаю об Айтматове, вспоминая свои встречи с ним.

В книгах — человек огромной чуткости, душевной щедрости, поэтичности. В жизни — неприветливый, замкнутый. Говорит словно бы нехотя. Чувство юмора редко-редко блеснет. И улыбка такие редко освещает неподвижное лицо. Угрюмый тяжелодум.

Несовпадение это удручало. Каждую новую его книгу я читала, с большим трудом преодолевая первые страницы. Но, преодолев, уже не отрывалась, узнавая и не узнавая любимого писателя. Узнавала его верность себе, своей главной и неизменной задаче — защите человеческой личности. И всякий раз удивлялась его повизне, могучему воображению, непохожести на других.

Иные критики не жизнью поверяют его книги, а другими книгами. Литературу поверяют литературой.

«Характеры гонимых в «Плахе» недостаточно хорошо выписаны»? Почему же я тогда сопоставляю сейчас играющих их актеров с теми образами, которые под воздействием айтматовского слова сложились в моем представлении? Хорошо, что один и тот же актер исполняет Гришана и Пилата. Для меня все они выстраиваются в один ряд: Гришан, Пилат, Кандалов, Базарбай и парторг Кочкорбаев.

«Ренановская традиция исчерпана»? Но дело в том, что Айтматов не читал Ренана. Без помощи Ренана старается познать историю мятежного человеческого духа. Извечный конфликт личности и общества. Хотя, наверное, и не стал бы спорить с Ренаном, что свобода — вот подлинная истина.

«Булгаков чувствовал себя последним и ставил веку конца»? Да неужели этот дерзкий художник, сам нарушавший все и всяческие каноны, стал бы сознательно «ставить веку конца»? И возможны ли вообще в литературе какие-то «веки конца»?

Времена меняются, а подозрительность по отношению к бунтарям и нарушителям заведенного порядка не убывает. Во все времена трудно живется таким людям.

У Пушкина есть строки:

Умолкни, ропот малодушный!
Гордись и радуйся, поэт:
Ты не поник главной послушной
Перед позором наших лет...

Вот плаха. Он взмог. Он славу именует...
Плачь, муза, плачь!..

А легко ли живется самому Айтматову, который всю жизнь пишет о бунтарях и наруши-

телях заведенного порядка? Вот он сидит в зале — грузный, поседевший. И прилежно внимает тому, как разыгрывают на помосте его «Плаху». Вместе со всеми добросовестно хлопает.

Спесивцев ищет новый для себя путь в режиссуре. Прежде на его спектаклях зрителей ошеломлял каскад режиссерских находок и изобретений. Сейчас стиль его постановок гораздо строже. Больше возможностей для выявления актерского дарования. Но все в этом театре рождается в трудах, с болью. Не так-то легко слить в гармоническое целое профессиональных актеров, пришедших из разных театров, и студенческую самодеятельность.

Однако зал, кажется, не замечает огрехов в игре. Вокруг молодые, серьезные, напряженные лица. Что знают эти студенты о жизни, которая превращается порой в плаху? И почему не смеются вслед за критиком, для которого «двойное распятие Авдия оборачивается известным комизмом»? Не заболели еще душевной глухотой людей, со всеми удобствами устроившихся в жизни и не ведающих, что творится за стенами их уютной квартиры?

Подобные критики — отрицая или восхваляя — выступают непременно от имени тысяч, а то и миллионов. То есть от имени народа. Не испросив у него на то позволения. Хотя народ как раз единодушно назвал «Плаху» среди лучших книг года.

Можно порадоваться за критика, которому не пришлось в жизни встретиться с кандаловыми. Хотя, бывает, они совсем рядом, среди нас. И, между прочим, распинают нарушителей заведенного порядка тоже «от имени народа». Или «коллектива».

А разве нет кандаловых в литературе?

Помню, как говорили с Айтматовым о конце 50-х годов, он рассказывал о своей учебе на литературных курсах в Москве: «Какое было время! Избавились от груза прошлого, освободились от страха, от подозрительности, вздохнули свободно... А потом опять по-старому пошло...»

Ослепление. Прозрение. Снова ослепление. Снова прозрение. Сколько же мы будем прозревать? Да и все ли прозрели? И все ли кандаловы получили и получают по заслугам? А многим ли лучше их пособники — трусливые молчаливы?

Безнадежно рассчитывать на искреннюю духовную перестройку давно переродившихся людей. Даже если с привычной для них готовностью они вдруг принялись рассуждать о правде, совести, гласности. Те, кто добился личного процветания именно благодаря отсутствию таковых. И навязали нашему обществу удобный для избранных (по щедринскому выражению) «кодекс условной нравственности, условной истины и условной справедливости». Прежде такие люди делали карьеру на неправде. Сегодня — спекулируя на правде. Рухнули одни опоры, они тут же изыскивают новые. Им мало просто усидеть. Они изо всех сил стараются «укрепиться». Обзаваются новыми свя-

зьями, новыми покровителями. Не только ради себя, но и ради детей и внуков. Чтобы никогда не прерывалось семейное преуспеяние.

О непримиримом столкновении и противоборстве двух разных миров — бескорыстия и корысти, правды и неправды, бескомпромиссности и приспособленчества, верности и предательства, человечности и жестокости, света и тьмы, добра и зла — вот о чем всегда писал Айтматов, даже в самых ранних рассказах. Писал не вслед призывам, звучавшим с высоких трибун. Независимо от дувающих ветров шел трудной дорогой честного художника.

А на сцене сейчас идет партсобрание. На одном конце сцены-плахи — чабан Бостон. На другом — парторг Кочкорбаев. Первый — человек настоящего и будущего. Второй — человек прошлого. Того самого прошлого, которое «от имени народа» судило и изгоняло из партии другого труженика и чабана — Танабая из «Прошай, Гульсары!».

Зал смеется. Уже не устрашающей, а смешной кажется сидящим рядом со мной студентам демагогия чинуши-парторга. А смешно ли тем, над кем еще продолжают где-то вершить свой несправедливый суд такие же бумажные, мертвые души? Сейчас выбор должны сделать сами зрители. Им предлагают проголосовать, за кого они: за Бостона или Кочкорбаева? Вокруг сцены вырастает лес рук. Наше время гласует за Бостона.

Уже и слова те отзвучали, но тревога Авдия передалась и залу: предупредить учителя... спасти... есть острок заветный на Оке...

Что бы мы делали без таких людей, без этих отчаянных одиночек, стремящихся «одолеть неодолимое», без этих чудачков, которые чужую боль воспринимают, как собственную, а может, и еще острее, и чувствуют себя в ответе за все, что было, есть и будет?

Говорят, проповеди Авдия никого не убеждают. Проповеди действительно не убеждают. Но когда он требует, чтобы его посадили за решетку вместе с анашистами, желая разделить их вину и наказание, переворачивается что-то даже в душах у этих убийц. Никакие угрозы не могут вырвать у них требуемого признания. Не сговариваясь, они убергают Авдия от ожидающей их участи. Что же здесь побеждает: зло или добро? И так ли в конечном итоге напрасен подвиг самопожертвования айтматовского героя?

Жаль, что не удалось вместить в спектакль столь важные для писателя страницы, читаемые, как поэмы в прозе. Это болгарское песнопение в Пушкинском музее, перетекаемое в грузинскую балладу, которые слиты воедино общей мыслью. Разделенные языками, границами или историей, люди все равно остаются братьями.

В одной из статей у Айтматова вырвалось сожаление, что он не может полностью отдаваться литературной работе. Но ведь каждый добровольно избирает себе способ жить. И, значит, что-то заставляет писателя не жалеть времени и тратить многие усилия на объединение людей разных национальностей и разных идеологий.

Работая рядом с ним на «Иссык-Кульском форуме», я видела, сколько хлопот доставил он писателю и его семье, несмотря на помощь целого ряда организаций. Но Айтматов отвечал и за успешное проведение форума, и за устройство гостей, и за их здоровье. Не обхо-

дилось, естественно, без шероховатостей и даже напряженных моментов. И все-таки достичь удалось немалого: родилась новая общность деятелей культуры, литературы и науки из разных стран, добровольно взявших на себя заботу о сохранении мира на земле.

Договорились, что я возьму у Айтматова интервью, но во время форума у него не было ни одной свободной минуты. Да и позже, в Москве, он не раз назначал мне часы встречи, но подводил. Я пеняла ему: «А ведь вас народным писателем величают! Ну какой же вы народный, если народу к вам не пробиться? Видно, в книгах легче к демократизации призывать, чем в жизни этим призывам следовать?»

— Да-а, верно, — соглашался Айтматов и добросовестно расписывал свои дни: где был и с кем виделся.

— Вот вы сами занимаете высокие посты и общаетесь с высокими чинами, а пишете о чабанах, о рабочих. Откуда же вы черпаете материал? Из опыта прошлых лет? Или и сейчас доводится видеть народную жизнь?

— И сейчас доводится.

Однажды вечером, уже в дни последующего Международного форума, позвонил и сказал: «Если хотите, приезжайте, я сейчас свободен».

Я приехала и увидела... смертельно усталого человека. Какое тут может быть интервью?

— Спрашивайте, — сказал он.

Тяжелая голова свесилась на грудь. Часы на металлическом браслете снял с руки и перебирает, как четки. И медленно текут тягучие фразы:

— Убить человека... Я в детстве и не слышал о таком. Говорили, что только в 1916 году, во время военных выборов, кто-то кого-то убил. И больше ни одного случая не помню. Жизнь была скучная, а народ был скромней. И не было в нем сегодняшней агрессивности. Сейчас, как ни приеду в аил, рассказывают: кого-то убили или задавили, а кто-то повесился. Все время что-то стрясается... А тогда спокойно жили, патриархально. Среди таких людей я и воспитывался. Мне кажется, лучше были тогда люди, чем сегодня. Не потому, что я, как и все мы, с ностальгией прошлое вспоминаю. Просто люди относились ко мне как-то доверительней, теплей.

— Почему вы в зоотехники пошли? Ведь не только из любви к животным?

Задавая этот вопрос, вспомнила, с какой детской счастливой улыбкой смотрел Айтматов на красавцев коней во время скачек на ипподроме.

— Выбора у меня не было. В соседнем Джамбуле в то время было всего три техникума: пищевой, статистический и зоотехнический. Ни института, ни университета. Пошел в зоотехнический. Мне казалось, что это наиболее достойное занятие для мужчины.

Многое в наше время смешалось: мужские и женские профессии, понятия о мужественности и женственности.

У Айтматова понятие о мужественности и мужской гордости осталось неизблемым. А когда Бостон говорит: «Я, можно сказать, старик. Зимой стукнет сорок девять», — это Айтматов его устами говорит. В девять лет трагически потеряв отца, с четырнадцати познав труд, работая в военные годы секретарем сельсовета, учетчиком, сборщиком налогов, он не пытается сбросить с себя тяжесть про-

житых лет. Когда при мне кто-то спросил его о возрасте, он, безнадежно махнув рукой, сказал: «Старик уже. Пятьдесят восемь лет». Хотя до пятидесяти восьми оставалось еще полгода.

Заметила, что, когда ему говорят что-то легкое о нем, о его книгах, он или смотрит в сторону, или прерывает на полуслове.

— Вы на самом деле равнодушны к лестии или притворяетесь?

— Конечно, человеку приятно, когда ему говорят или приписывают хорошее, но со временем осознаешь, что это не всегда помогает жить...

Идя сегодня на спектакль, Айтматов вряд ли представлял себе, как будет выглядеть на сцене его волки. У Спесивцева их играет совсем юная пара — светловолосые девушка и юноша, затянутые в черное трико. Легкие, пластичные, страстные. И зал верит таким «волкам». Когда Акбара обращается с плачем к своей волчьей богине, моля ее вернуть ей детенышей, в зале слышатся тихие всхлипывания. Сейчас эта юная «волчица» — как самая настоящая человеческая мадонна, забыв о преследующих ее людях, медленно идет по сцене — плахе, прижимая к груди украденного младенца, а его мать в отчаянии просит мужа убить похитительницу.

— Как вам удалось так хорошо почувствовать и описать волков? — спросили Айтматова на встрече в Останкино.

— Работать пужно много, вот и все, — ответил он.

Последние страницы, последние минуты «Плахи».

Роковой выстрел. Бостон убивает свое дитя.

И вот он — лицом к лицу — с подлинным убийцей, еще одним кандаловым — Базарбаем. Расплата, которая настагает его в книге и в спектакле, кажется нам вполне справедливой. Недостоин такой человек ходить по земле.

Но оправдали бы мы такой финал в жизни? Ведь в жизни даже самые тяжкие конфликты выстрелом не разрешить. Где же выход?

Вы не устаете верить, Чингиз Торекулович, в силу добра, в человеческую совесть, в раскаяние. Но сами же с грустью пишете о свойстве человека «не принимать укора» на свой счет, о его умении «заглушить и задавить свою совесть и найти себе множество оправданий». Достучитесь ли вы до таких сердец, в которых уже давно заглохла человеческая совесть?

Книга в отличие от спектакля не заканчивается выстрелом. Там дальше идут очень важные для Айтматова и для нас слова:

«Бостон же продолжал свой путь. А сияя крутизна Иссык-Куля все приближалась, и ему хотелось раствориться в ней, исчезнуть и хотелось и не хотелось жить. Вот как эти буруны — волна вскипает, исчезает и снова возрождается сама из себя...»

Как ни страшна порой, как ни трагична жизнь, наша жажда жизни неугасима.

Долгие аплодисменты. Вслед за актерами и зрителям выходят режиссер и писатель. И увенчанный лаврами писатель говорит, какая это для него честь, что его роман поставили в этом только что родившемся театре.